

# Колымские рассказы. Стихотворения (сборник)

**Автор:**

[Варлам Шаламов](#)

Колымские рассказы. Стихотворения (сборник)

Варлам Тихонович Шаламов

Список школьной литературы 10-11 класс

Русского поэта и писателя, узника сталинских лагерей Варлама Тихоновича Шаламова критики называют «Достоевским XX века». Его литература – страшное свидетельство советской истории. Исповедальная проза Шаламова трагедийна по своей природе, поэзия проникнута библейскими мотивами.

В состав книги вошли «Колымские рассказы», принесшие писателю мировую известность, а также «Колымские тетради», составляющие его поэтическое наследие.

Варлам Тихонович Шаламов

Колымские рассказы. Стихотворения

О прозе

Лучшая художественная проза современная – это Фолкнер. Но Фолкнер – это взломанный, взорванный роман, и только писательская ярость помогает довести дело до конца, достроить мир из обломков.

Роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму.

Людам, прошедшим революции, войны и концентрационные лагеря, нет дела до романа.

Авторская воля, направленная на описание придуманной жизни, искусственные коллизии и конфликты (малый личный опыт писателя, который в искусстве нельзя скрыть) раздражают читателя, и он откладывает в сторону пухлый роман.

Потребность в искусстве писателя сохранилась, но доверие к беллетристике подорвано.

Какая литературная форма имеет право на существование? К какой литературной форме сохраняется читательский интерес?

Последние годы во всем мире заметное место заняла научная фантастика. Успех научной фантастики вызван фантастическими успехами науки.

На самом же деле, научная фантастика – всего лишь жалкий суррогат литературы, эрзац литературы, не приносящая пользы ни читателям, ни писателям. Научная фантастика не дает никаких знаний, выдает незнание за знание. Способные авторы произведений такого рода (Брэдбери, Азимов) стремятся лишь сузить зияющую пропасть между жизнью и литературой, не пытаясь перекинуть мост.

Успех литературных биографий, начиная от Моруа и кончая автором «Жажды жизни» [1 - Ирвинг Стоун, «Жажда жизни». Повесть о Винсенте Ван-Гоге.], – тоже свидетельство потребности читателя в чем-то более серьезном, чем роман.

Огромный интерес во всем мире к мемуарной литературе – это голос времени, знамение времени. Сегодняшний человек проверяет себя, свои поступки не по поступкам Жюльена Сореля, или Растиньяка, или Андрея Болконского, но по событиям и людям живой жизни – той, свидетелем и участником которой читатель был сам.

И здесь же: автор, которому верят, должен быть «не только свидетелем, но и участником великой драмы жизни», пользуясь выражением Нильса Бора. Нильс Бор сказал эту фразу в отношении ученых, но она принята справедливо в отношении художников.

Доверие к мемуарной литературе безгранично. Литературе этого рода свойствен тот самый «эффект присутствия», который составляет суть телевидения. Я не могу смотреть футбольный матч по видеографу тогда, когда знаю его результат.

Сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается только документом. У сегодняшнего читателя есть и силы, и знания, и личный опыт для этого спора. И доверие к литературной форме. Читатель не чувствует, что его обманули, как при чтении романа.

На наших глазах меняется вся шкала требований к литературному произведению, требований, которые такая художественная форма, как роман, выполнить не в силах.

Пухлая многословная описательность становится пороком, зачеркивающим произведение.

Описание внешности человека становится тормозом понимания авторской мысли.

Пейзаж не принимается вовсе. Читателю некогда думать о психологическом значении пейзажных отступлений.

Если пейзаж и применяется, то крайне экономно. Любая пейзажная деталь становится символом, знаком и только при этом условии сохраняет свое значение, жизненность, необходимость.

«Доктор Живаго» – последний русский роман. «Доктор Живаго» – это крушение классического романа, крушение писательских заповедей Толстого. «Доктор Живаго» писался по писательским рецептам Толстого, а вышел роман-монолог, без «характеров» и прочих атрибутов романа XIX века. В «Докторе Живаго» нравственная философия Толстого одерживает победу и терпит поражение художественный метод Толстого.

Те символистские плащи, в которые Пастернак окутал своих героев, возвращаясь к идеям своей литературной юности, скорее уменьшают, чем увеличивают силу «Доктора Живаго», повторяю, романа-монолога.

Ставить вопрос о «характере в развитии» и т. д. не просто старомодно, это не нужно, а стало быть, вредно. Современный читатель с двух слов понимает, о чем идет речь, и не нуждается в подробном внешнем портрете, не нуждается в классическом развитии сюжета и т. д. Когда А.А. Ахматову спросили, чем кончается ее пьеса, она ответила: «Современные пьесы ничем не кончаются», и это не мода, не дань «модернизму», а просто читателю не нужны авторские усилия, направленные на «закругление» сюжетов по тем проторенным путям, которые читателю известны из средней школы.

Если писатель добивается литературного успеха, настоящего успеха, успеха по существу, а не газетной поддержки, то кому какое дело, есть в этом произведении «характеры» или их нет, есть «индивидуализация речи героев» или ее нет.

В искусстве единственный вид индивидуализации – это своеобразие авторского лица, своеобразие его художественного почерка.

Читатель ищет, как и искал раньше, ответа на «вечные» вопросы, но он потерял надежду найти на них ответ в беллетристике. Читатель не хочет читать пустяков. Он требует решения жизненно важных вопросов, ищет ответов о смысле жизни, о связях искусства и жизни.

Но задает этот вопрос не писателям-беллетристам, не Короленко и Толстому, как это было в XIX веке, а ищет ответа в мемуарной литературе.

Читатель перестает доверять художественной подробности. Подробность, не заключающая в себе символа, кажется лишней в художественной ткани новой прозы.

Дневники, путешествия, воспоминания, научные описания публиковались всегда и успех имели всегда, но сейчас интерес к ним необычаен. Это – главный отдел любого журнала.

Лучший пример: «Моя жизнь» Ч. Чаплина – вещь в литературном отношении посредственная – бестселлер № 1, обогнавшая все и всяческие романы.

Таково доверие к мемуарной литературе. Вопрос: должна ли быть новая проза документом? Или она может быть больше, чем документ.

Собственная кровь, собственная судьба – вот требование сегодняшней литературы.

Если писатель пишет своей кровью, то нет надобности собирать материалы, посещая Бутырскую тюрьму или тюремные «этапы», нет надобности в творческих командировках в какую-нибудь Тамбовскую область. Самый принцип подготовительной работы прошлого отрицается, ищутся не только иные аспекты изображения, но иные пути знания и познания.

Весь «ад» и «рай» в душе писателя и огромный личный опыт, дающий не только нравственное превосходство, не только право писать, но и право судить.

Я глубоко уверен, что мемуарная проза Н.Я. Мандельштам станет заметным явлением русской литературы не только потому, что это памятник века, что это страстное осуждение века-волкодава. Не только потому, что в этой рукописи читатель найдет ответ на целый ряд волнующих русское общество вопросов, не только потому, что мемуары – это судьбы русской интеллигенции. Не только потому, что здесь в блестящей форме преподаны вопросы психологии творчества. Не только потому, что здесь изложены заветы О.Э. Мандельштама и рассказано о его судьбе. Ясно, что любая сторона мемуара вызовет огромный интерес всего мира, всей читающей России. Но рукопись Н.Я. Мандельштам имеет еще одно, очень важное качество. Это новая форма мемуара, очень емкая, очень удобная.

Хронология жизни О.Э. Мандельштама перемежается с бытовыми картинками, с портретами людей, с философскими отступлениями, с наблюдениями по психологии творчества. И с этой стороны воспоминания Н.Я. Мандельштам представляют огромный интерес. В историю русской интеллигенции, в историю русской литературы входит новая крупная фигура.

Большие русские писатели давно чувствовали этот ущерб, это ложное положение романа как литературной формы. Бесплодны были попытки Чехова

написать роман. «Скучная история», «Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь», «Черный монах» – все это настойчивые, неудачные попытки написать роман.

Чехов еще верил в роман, но потерпел неудачу. Почему? У Чехова была укоренившаяся многолетняя привычка писать рассказ за рассказом, держа в голове только одну тему, один сюжет. Пока писался очередной рассказ, Чехов принимался за новый, даже не обдумывал про себя. Такая манера не годится для работы над романом. Говорят, что Чехов не нашел в себе сил «подняться до романа», был слишком «приземлен».

К очерку никакого отношения проза «Колымских рассказов» не имеет. Очерковые куски там вкраплены для вящей славы документа, но только кое-где, всякий раз датированно, рассчитанно. Живая жизнь заводится на бумагу совсем другими способами, чем в очерке. В «Колымских рассказах» отсутствуют описания, отсутствует цифровой материал, выводы, публицистика. В «Колымских рассказах» дело в изображении новых психологических закономерностей, в художественном исследовании страшной темы, а не в форме интонации «информации», не в сборе фактов. Хотя, разумеется, любой факт в «Колымских рассказах» неопровержим.

Существенно для «Колымских рассказов» и то, что в них показаны новые психологические закономерности, новое в поведении человека, низведенного до уровня животного, – впрочем, животных делают из лучшего материала, и ни одно животное не переносит тех мук, какие перенес человек. Новое в поведении человека, новое – несмотря на огромную литературу о тюрьмах и заключении.

Эти изменения психики необратимы, как отморожения. Память ноет, как отмороженная рука при первом холодном ветре. Нет людей, вернувшихся из заключения, которые бы прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унижительном и страшном лагерном труде.

Автор «Колымских рассказов» считает лагерь отрицательным опытом для человека – с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь – отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех: для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и

читателей беллетристики.

В «Колымских рассказах» взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего. Похоже ли их настоящее на звериное или это человеческое настоящее?

В «Колымских рассказах» нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра, – если брать вопрос в большом плане, в плане искусства.

Если бы я имел иную цель, я бы нашел совсем другой тон, другие краски, при том же самом художественном принципе.

«Колымские рассказы» – это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями.

Потребность в такого рода документах чрезвычайно велика. Ведь в каждой семье, и в деревне, и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян, были люди, или родственники, или знакомые, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель – да и не только русский, – который ждет от нас ответа.

Нужно и можно написать рассказ, который неотличим от документа. Только автор должен исследовать свой материал собственной шкурой – не только умом, не только сердцем, а каждой порой кожи, каждым нервом своим.

В мозгу давно лежит вывод, какое-то суждение о той или другой стороне человеческой жизни, человеческой психики. Этот вывод достался ценой большой крови и сбережен, как самое важное в жизни.

Наступает момент, когда человеком овладевает непреодолимое чувство поднять этот вывод наверх, дать ему живую жизнь. Это неотвязное желание приобретает характер волевого устремления. И не думаешь больше ни о чем. И когда <ощущаешь>, что чувствуешь снова с той же силой, как и тогда, когда встречался в живой жизни с событиями, людьми, идеями (может быть, сила и другая, другого масштаба, но сейчас это не важно), когда по жилам снова течет горячая кровь...

Тогда начинаешь искать сюжет. Это очень просто. В жизни столько встреч, столько их хранится в памяти, что найти необходимое легко.

Начинается запись, где очень важно сохранить первичность, не испортить правкой. Закон, действующий для поэзии, о том, что первый вариант всегда самый искренний, действует, сохраняется и здесь.

Сюжетная законченность. Жизнь – бесконечно сюжетна, как сюжетны история, мифология; любые сказки, любые мифы встречаются в живой жизни.

Для «Колымских рассказов» не важно, сюжетны они или нет. Там есть и сюжетные и бессюжетные рассказы, но никто не скажет, что вторые менее сюжетны и менее важны.

Нужно и можно написать рассказ, неотличимый от документа, от мемуара.

А в более высоком, в более важном смысле любой рассказ всегда документ – документ об авторе, – и это-то свойство, вероятно, и заставляет видеть в «Колымских рассказах» победу добра, а не зла.

Переход от первого лица к третьему, ввод документа. Употребление то подлинных, то вымышленных имен, переходящий герой – все это средства, служащие одной цели.

Все рассказы имеют единый музыкальный строй, известный автору. Существительные-синонимы, глаголы-синонимы должны усилить желаемое впечатление. Композиция сборника продумывалась автором. Автор отказался от короткой фразы, как литературщины, отказался от физиологической меры Флобера – «фраза диктуется дыханием человека». Отказался от толстовских «что» и «который», от хемингуэевских находок – рваного диалога, сочетающегося с затянутой до нравоучения, до педагогического примера фразой.

Автор хотел получить только живую жизнь.

Какими качествами должны обладать мемуары, кроме достоверности?.. И что такое историческая точность?..

По поводу одного из «Колымских рассказов» у меня был разговор в редакции московского журнала.

– Вы читали «Шерри-бренди» в университете?

– Да, читал.

– И Надежда Яковлевна была?

– Да, и Надежда Яковлевна была.

– Канонизируется, значит, ваша легенда о смерти Мандельштама?

Я говорю:

– В рассказе «Шерри-бренди» меньше исторических неточностей, чем в пушкинском «Борисе Годунове».

Помните:

1) В «Шерри-бренди» описана та самая пересылка во Владивостоке, на которой умер Мандельштам и где автор рассказа был годом раньше.

2) Здесь – почти клиническое описание смерти от алиментарной дистрофии, а попросту говоря, от голода, того самого голода, от которого умер Мандельштам. Смерть от алиментарной дистрофии имеет особенность. Жизнь то возвращается в человека, то уходит из него, и по пять суток не знаешь, умер человек или нет. И можно еще спасти, вернуть в мир.

3) Здесь описана смерть человека. Разве этого мало?

4) Здесь описана смерть поэта. Здесь автор пытался представить с помощью личного опыта, что мог думать и чувствовать Мандельштам, умирая, – то великое равноправие хлебной пайки и высокой поэзии, великое равнодушие и спокойствие, которое дает смерть от голода, отличаясь от всех «хирургических» и «инфекционных» смертей.

Разве этого мало для «канонизации»?

Разве у меня нет нравственного права написать о смерти Мандельштама? Это – долг мой. Кто и чем может опровергнуть такой рассказ, как «Шерри-бренди»? Кто осмелится назвать этот рассказ легендой?

– Когда написан этот рассказ?

– Рассказ написан сразу по возвращении с Колымы в 1954 году в Решетникове Калининской области, где я писал день и ночь, стараясь закрепить что-то самое важное, оставить свидетельство, крест поставить на могиле, не допустить, чтобы было скрыто имя, которое мне дорого всю жизнь, чтобы отметить ту смерть, которая не может быть прощена и забыта.

А когда я вернулся в Москву, я увидел, что стихи Мандельштама есть в каждом доме. Обошлось без меня. И если бы я это знал, я написал бы, может быть, по-другому, не так.

Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, для которых овладение материалом, его художественное преобразование не являются чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом.

Подобно тому, как Экзюпери открыл для людей воздух, – из любого края жизни придут люди, которые сумеют рассказать о знакомом, о пережитом, а не только о виденном и слышанном.

Есть мысль, что писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо и близко знать свой материал. Что писатель должен рассказывать читателю на языке тех самых читателей, от имени которых писатель пришел исследовать этот материал. Что понимание виденного не должно уходить слишком далеко от нравственного кодекса, от кругозора читателей.

Орфей, спустившийся в ад, а не Плутон, поднявшийся из ада.

По этой мысли, если писатель будет слишком хорошо знать материал, он перейдет на сторону материала. Изменяются оценки, сместятся масштабы.

Писатель будет измерять жизнь новыми мерками, которые непонятны читателю, пугают, тревожат. Неизбежно будет утрачена связь между писателем и читателем.

По этой мысли – писатель всегда немножко турист, немножко иностранец, литератор и мастер чуть больше, чем нужно.

Образец такого писателя-туриста – Хемингуэй, сколько бы он ни воевал в Мадриде. Можно воевать и жить активной жизнью и в то же время быть «вовне», все равно – «над» или «в стороне».

Новая проза отрицает этот принцип туризма. Писатель – не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник и не в писательском обличье, не в писательской роли.

Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад.

Выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта.

Писатель становится судьей времени, а не подручным чьим-то, и именно глубочайшее знание, победа в самых глубинах живой жизни дает право и силу писать. Даже метод подсказывает.

Как и мемуаристы, писатели новой прозы не должны ставить себя выше всех, умнее всех, претендовать на роль судьи.

Напротив, писатель, автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех. Только здесь – успех и доверие. Это и нравственное и художественное требование современной прозы.

Писатель должен помнить, что на свете – тысяча правд.

Чем достигается результат?

Прежде всего серьезностью жизненно важной темы. Такой темой может быть смерть, гибель, убийство, Голгофа... Об этом должно быть рассказано ровно, без

декламации.

Краткостью, простотой, отсечением всего, что может быть названо «литературой».

Проза должна быть простой и ясной. Огромная смысловая, а главное, огромная нагрузка чувства не дает развиваться скороговорке, пустяку, погремущке. Важно воскресить чувство. Чувство должно вернуться, побеждая контроль времени, изменение оценок. Только при этом условии возможно воскресить жизнь.

Проза должна быть простым и ясным изложением жизненно важного. В рассказ должны быть введены, подсажены детали – необычные новые подробности, описания по-новому. Само собой новизна, верность, точность этих подробностей заставят поверить в рассказ, во все остальное не как в информацию, а как в открытую сердечную рану. Но роль их гораздо больше в новой прозе. Это – всегда деталь-символ, деталь-знак, переводящая весь рассказ в иной план, дающая «подтекст», служащий воле автора, важный элемент художественного решения, художественного метода.

Важная сторона дела в «Колымских рассказах» подсказана художниками. Гоген в «Ноа-Ноа» пишет: если дерево кажется вам зеленым – берите самую лучшую зеленую краску и рисуйте. Вы не ошибетесь. Вы нашли. Вы решили. Речь здесь идет о чистоте тонов. Применительно к прозе этот вопрос решается в устранении всего лишнего не только в описаниях (синий топор и т. д.), но и в отсечении всей шелухи «полутонов» – в изображении психологии. Не только в сухости и единственности прилагательных, но в самой композиции рассказа, где многое принесено в жертву ради этой чистоты тонов. Всякое другое решение уводит от жизненной правды.

«Колымские рассказы» – попытка поставить и решить какие-то важные нравственные вопросы времени, вопросы, которые просто не могут быть разрешены на другом материале.

Вопрос встречи человека и мира, борьба человека с государственной машиной, правда этой борьбы, борьба за себя, внутри себя и вне себя. Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда.

Автор разрушает рубежи между формой и содержанием, вернее, не понимает разницы. Автору кажется, что важность темы сама диктует определенные художественные принципы. Тема «Колымских рассказов» не находит выхода в обыкновенных рассказах. Такие рассказы – опошление темы. Но вместо мемуара «Колымские рассказы» предлагают новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же время – преображенная действительность, преображенный документ.

Так называемая лагерная тема – это очень большая тема, где разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно.

Автор «Колымских рассказов» стремится доказать, что самое главное для писателя – это сохранить живую душу.

Композиционная цельность – немалое качество «Колымских рассказов». В этом сборнике можно заменить и переставить лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны стоять на своих местах. Все, кто читал «Колымские рассказы» как целую книгу, а не отдельными рассказами, отметили большое, сильнейшее впечатление. Это говорят все читатели. Объясняется это неслучайностью отбора, тщательным вниманием к композиции.

Автору кажется, что «Колымские рассказы» – все рассказы стоят на своем месте. «Тифозный карантин», кончающий описание кругов ада, и машина, выбрасывающая людей на новые страдания, на новый этап (этап!), – рассказ, который не может начинать книги.

Применяемый и вставленный, публицистический по существу ткани «Красный крест», ибо значение блатного мира очень велико в лагере, и тот, кто не понял этого, – тот не понял ничего ни в лагере, ни в современном обществе.

«Колымские рассказы» – это изображение новых психологических закономерностей в поведении человека, людей в новых условиях. Остаются ли они людьми? Где граница между человеком и животным? Сказка Веркора или Уэллса «Остров доктора Моро», с его гениальным «чтецом закона», – только прозрение, только забава по сравнению со страшным лицом живой жизни.

Эти закономерности новы, новы, несмотря на огромную литературу о тюрьмах и заключенных. Этим еще раз доказывается сила новой прозы, ее необходимость.

Преодоление документа есть дело таланта, конечно, но требования к таланту, и прежде всего с нравственной стороны, в лагерной теме очень высоки.

Эти психологические закономерности необратимы, как отморожение III и IV степени. Автор считает лагерь отрицательным опытом для человека – отрицательным с первого до последнего часа – и жалеет, что собственные силы вынужден направить на преодоление именно этого материала.

Автор тысячу раз, миллион раз спрашивал бывших заключенных, был ли в их жизни хоть один день, когда бы они не вспоминали лагерь. Ответ был одинаковым – нет, такого дня в их жизни не было.

Даже те люди высокой умственной культуры, побывавшие в лагере, – если не были раздавлены и уцелели случайно – старались воздвигнуть барьер шутки, анекдота, барьер, оберегающий собственную душу и ум. Но лагерь обманул и их. Он сделал этих людей проповедниками принципиальной беспринципности, и их огромная культура знания послужила им предметом для домашних умственных развлечений, для гимнастики ума.

Анализ «Колымских рассказов» в самом отсутствии анализа. Здесь взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего, взяты в момент их настоящего – звериного или человеческого? И на кого идет материал лучше – на зверей, на животных или на людей?

«Колымские рассказы» – это судьба мучеников, не бывших и не ставших героями.

В «Колымских рассказах» – как кажется автору – нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра.

Если бы я хотел другого, я нашел бы совсем другой тон, другие краски, применяя тот же художественный принцип.

Собственная кровь – вот что сцементировали фразы «Колымских рассказов». Любой вопрос, который ставит жизнь, – а эти вопросы не только не разрешены, но даже не поставлены как следует. Память сохранила тысячи сюжетных вариантов ответа, и мне остается только выбрать и тащить на бумагу подходящий. Не для того, чтобы описать что-то, а затем, чтобы ответить. У меня

нет времени на описания.

Ни одной строки, ни одной фразы в «Колымских рассказах», которая была бы «литературной», не существует.

И еще: жизнь до сих пор хранит ситуации сказок, эпоса, легенд, мифологии, религий, памятников искусства (что немало смущало Оскара Уайльда).

Автор надеется, что в 33 рассказах сборника никто не усомнится, что это – правда живой жизни.

Подмена, преобразование достигались не только вмонтированием документов. «Инжектор» – не только пейзажная прокладка вроде «Стланика». На самом деле вовсе не пейзажная, ибо никакой пейзажной лирики нет, а есть лишь разговор автора со своими читателями.

«Стланик» нужен не как пейзажная информация, а как состояние души, необходимое для боя в «Шоковой терапии», «Заговоре юристов», «Тифозном карантине».

Это – <род> пейзажной прокладки.

Все повторения, все обмолвки, в которых меня упрекали читатели, сделаны мной не случайно, не по небрежности, не по торопливости...

Говорят, объявление лучше запоминается, если в нем есть орфографическая ошибка. Но не только в этом вознаграждение за небрежность.

Сама подлинность, первичность требуют такого рода ошибок.

«Сентиментальное путешествие» Стерна обрывается на полужае и ни у кого не вызывает неодобрения.

Почему же в рассказе «Как это началось» все читатели дописывают, исправляют от руки не дописанную мною фразу «Мы еще рабо...»?

И как бороться за стиль, защитить авторское право?

Применение синонимов, глаголов-синонимов и синонимов-существительных, служит той же двойной цели – подчеркиванию главного и созданию музыкальности, звуковой опоры, интонации.

Когда оратор говорит речь, новая фраза составляется в мозгу, пока выходят на язык синонимы.

Необычайная важность сохранения первого варианта. Правка недопустима. Лучше подождать другого подъема чувства и написать рассказ снова со всеми правами первого варианта.

Все, кто пишет стихи, знают, что первый вариант – самый искренний, самый непосредственный, подчиненный торопливости высказать самое главное. Последующая отделка – правка (в разных значениях) – это контроль, насилие мысли над чувством, вмешательство мысли. Я могу угадать у любого русского большого поэта в 12–16 строках стихотворения – какая строфа написана первой. Без ошибки угадывал, что было главным для Пушкина и Лермонтова.

Вот и для прозы этой, условно называемой «новой», необычайно важна удача первого варианта. <...>

Скажут – все это не нужно для вдохновения, для озарения.

Автор отвечает: озарение является только после неперемного ожидания, напряженной работы, искания, зова.

Бог всегда на стороне больших батальонов. По Наполеону. Эти большие батальоны поэзии строятся и маршируют, учатся стрелять в укрытии, в глубине.

Художник работает всегда, и переработка материала ведется всегда, постоянно. Озарение – результат этой постоянной работы.

Конечно, в искусстве есть тайны. Это – тайны таланта. Не больше и не меньше.

Правка, «отделка» любого моего рассказа необычайно трудна, ибо имеет особенные задачи, стилевые.

Чуть-чуть исправишь – и нарушается сила подлинности, первичности. Так было с рассказом «Заговор юристов» – ухудшение качества после правки было сразу заметно (Н.Я.)[2 - Мандельштам Н.Я. писала В.Т. Шаламову (2 сент. 1965 г.): «В “Деле юристов” как будто читала более детальный вариант, и он был сильнее».]

Верно ли, что новая проза опирается на новый материал и этим материалом сильна?

Конечно, в «Колымских рассказах» нет пустяков. Автор думает, может быть заблуждаясь, что дело все же не только в материале и даже не столько в материале...

У автора есть рассказ «Крест» – это один из лучших рассказов по композиционной законченности, по сути, принципы новой прозы соблюдены, и рассказ получился, мне кажется.

Почему лагерная тема. Лагерная тема в широком ее толковании, в ее принципиальном понимании – это основной, главный вопрос наших дней. Разве уничтожение человека с помощью государства – не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший в психологию каждой семьи? Этот вопрос много важнее темы войны. Война в каком-то смысле тут играет роль психологического камуфляжа (история говорит, что во время войны тиран сближается с народом). За статистикой войны, статистикой всякого рода хотят скрыть «лагерную тему».

Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу воспоминаний. Никаких воспоминаний в «Колымских рассказах» нет. Я не пишу и рассказов – вернее, стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой.

Не проза документа, а проза, выстраданная как документ.

1965

Колымские рассказы

## По снегу

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потя и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал, – воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, – человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога, – ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

<1956>

## На представку

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но

инструкция на сей счет была определена и строга. Словом, у конононов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» – самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки – вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры – классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала – склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго – книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая – листов не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту – дамы, валеты, десятки всех мастей... Масти не различались по цвету – да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми – умение собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца

был сверхъестественной длины – тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» – золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера – самозванные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Лево́й рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком – все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него – и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры – трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» – то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра – это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое – один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись – так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке – двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника-монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, – ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики – это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее – капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если

случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина... Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку – цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог, Как много сделано ошибок.

– Что ты играешь? – процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

– Вот, тряпки. Лепеху эту... – И Наумов похлопал себя по плечам.

– В пятистах играю, – оценил костюм Севочка.

В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа – после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина – здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» – остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте – барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в

нательной рубаше – сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

– Одеяло играю, – хрипло сказал Наумов.

– Двести, – безразличным голосом ответил Севочка.

– Тысячу, сука! – закричал Наумов.

– За что? Это не вещь! Это – локш, дрянь, – выговорил Севочка. – Только для тебя – играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать.

– Валенки играю.

– Не играю валенок, – твердо сказал Севочка. – Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя – все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

– На представку, – заискивающе сказал он.

– Очень нужно, – живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. – Что мне твоя представка? Этапов новых нет – где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть «на представку», в долг, было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.

– В сотне, – сказал он медленно. – Даю час представки.

– Давай карту. – Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки – и вновь проиграл все.

– Чифирку бы подварить, – сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. – Я подожду.

– Заварите, ребята, – сказал Наумов.

Речь шла об удивительном северном напитке – крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

– Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

– Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье – гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.

– Выходи ты, – сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.

Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер – это была последняя передача от жены перед

отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, – фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

– Ну-ка, снимай, – сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем – шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить – узор красивый.

– Не сниму, – сказал Гаркунов хрипло. – Только с кожей...

На него кинулись, сбили с ног.

– Он кусается, – крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

– Не могли, что ли, без этого! – закричал Севочка.

В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.

1956

Ночью

Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус – это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот – не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту – на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.

– Пора, – сказал Багрецов.

Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.

– Далеко еще? – спросил он шепотом.

– Далеко, – негромко ответил Багрецов.

Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем – все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.

– Я мог бы сделать это и один, – усмехнулся Багрецов, – но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля...

Их привезли на одном пароходе в прошлом году.

Багрецов остановился.

- Надо лечь, увидят.

Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.

Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал - кровь не останавливалась.

- Плохая свертываемость, - равнодушно сказал Глебов.

- Ты врач, что ли? - спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя - дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно - чтобы скорее убрать камни.

- Глубоко, наверно? - спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.

- Как она может быть глубокой? - сказал Багрецов.

И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.

- Есть, - сказал Багрецов.

Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней - на лунном свете он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, - в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.

- Молодой совсем, - сказал Багрецов.

Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.

- Здоровый какой, - сказал Глебов, задыхаясь.

- Если бы он не был такой здоровый, - сказал Багрецов, - его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.

Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.

- А кальсоны совсем новые, - удовлетворенно сказал Багрецов.

Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.

- Надень лучше на себя, - сказал Багрецов.

- Нет, не хочу, - пробормотал Глебов.

Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.

Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира.

Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.

– Закурить бы, – сказал Глебов мечтательно.

– Завтра закуришь.

Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку...

1954

### Одиночный замер

Вечером, сматывая рулетку, зритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший зрителя дать в долг «десяток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший зрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.

Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурков. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.

– Кури, мне оставишь, – предложил он.

Дугаев удивился – они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы

крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быть еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси...

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.

- Слабею, - сказал он.

Баранов промолчал.

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные - буханки хлеба, дымящиеся жирные супы... Забыть наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.

- А ты подожди, - сказал бригадир Дугаеву. - Тебя смотритель поставит.

Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.

- Иди сюда, - сказал Дугаеву смотритель. - Вот тебе место. - Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку - кусок кварца. - Досюда, - сказал он. - Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка - вози.

Дугаев послушно начал работу.

«Еще лучше», - думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не умеет красть: умение красть -

это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.

Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.

- Двадцать пять процентов, - сказал он и посмотрел на Дугаева. - Двадцать пять процентов. Ты слышишь?

- Слышу, - сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра - двадцать пять процентов нормы - показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел потому, что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.

- Ну, что ж, - сказал смотритель, уходя. - Желаю здравствовать.

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.

<1955>

## Дождь

Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы и кайла заправлялись без всякой задержки – редкий случай; кузнецам было нечего оттягивать – работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки не переставая. На каменистой почве нельзя узнать – час льет дождь или месяц. Холодный мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой, но то были бригады блатарей – даже для зависти у нас не было силы.

Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом, как пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, не могу сказать, до белья, потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков, что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее, и каждый вечер десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой стерег нас, укрывшись под «грибом» – известным лагерным сооружением.

Мы не могли выходить из шурфов – мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу – мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь по берегу высохшего ручья.

За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить. Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни – того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади – я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от Севера, от непосильной работы, плохой пищи, побоев, и хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье создание, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он

физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.

Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с собой потому, что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоко, недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное – по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я – навеки инвалид! Эта страстная мечта подлежала расчету, и я точно подготовил место, куда поставлю ногу, представил, как легонько поверну кайлом – и камень рухнет. День, час и минута были назначены и пришли. Я поставил правую ногу под висящий камень, похвалил себя за спокойствие, поднял руку и повернул, как рычаг, заложенное за камень кайло. И камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случилось, – я отдернул ногу. В тесном шурфе нога была помята. Два синяка, три ссадины – вот и весь результат так хорошо подготовленного дела.

И я понял, что не гоюсь ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя. Ближайшей удачей был конец рабочего дня, три глотка горячего супу – если даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок – трехлитровая консервная банка – у меня есть. Закурить, вернее, докурить, я попрошу у нашего дневального Степана.

Вот так, перемешивая в мозгу «звездные» вопросы и мелочи, я ждал, вымокший до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит, и клетки мозга получают питание недостаточное, мозг мой давно уже на голодном пайке и что это неминуемо скажется сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще... И мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь.

Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей – первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: «Скоро, ребята, скоро!» Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю

жизнь ее вспоминал – как могла она так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гетевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки – ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, – вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде – все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией – дьявольской гармонией.

И в это время раздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был некто Розовский, пожилой агроном, изрядные специальные знания которого, как и знания врачей, инженеров, экономистов, не могли здесь найти применения. Он звал меня по имени, и я откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира – издалека, из-под гриба.

– Слушайте, – кричал он, – слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет... Нет...

Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься на конвойных. Оба конвоира приближались.

– Он заболел, – сказал я.

В это время донесся отдаленный, заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться.

Мы работали с Розовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился под груженую вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто перескочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее за покушение на самоубийство на него завели дело, он был судим, и мы расстались, ибо существует правило, что после суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Боятся мести под горячую руку – следовательно, свидетелям. Это мудрое правило. Но в отношении Розовского его можно было бы и не применять.

## Сухим пайком

Когда мы, все четверо, пришли на ключ Дусканья, мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой – растаявшим льдом – каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши, чуни, не спасали от холода наши многократно отмороженные ноги.

Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника, на земляном полу валялась черная, закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мхом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку – с нами были топоры и пилы.

Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечевки в нескольких местах так, как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов – ячневая и магар. У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый – Федя Щапов – легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные окурки.

Десятидневные пайки выглядели пугающе: не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей – если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей – если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня – его будет нам приносить десятник, ибо даже самая

маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятника. Кто он – мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище.

Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль – мы голодали давно. Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться, и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор, в этом мышечном слое размещалась только злоба – самое долговечное человеческое чувство.

Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи – арестантское наслаждение особого рода; ни с чем не сравнимое удовольствие приготовить пищу для себя, своими руками и затем есть, пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара, – наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.

Иван Иванович и Федя смешали свои продукты, Федя бережно вывернул карманы и, обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем.

Мы, все четверо, были отлично подготовлены для путешествия в будущее – хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности сто граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями, и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны – взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что

смерть несколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра, и иногда решались сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» – премиальный килограмм хлеба, – просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером – отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь – родные сестры, что на свете тысячи правд...

Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи.

Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их.

Мы поняли – это было самое главное, – что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере – это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку, арестанту, как я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов – подлец, а Петров – шпион, а Заславский – лжесвидетель?

Невозможность пользоваться известными видами оружия делает нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому.

Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет «процент», то есть исполняет свой главный долг перед государством

и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают на совещания и собрания, по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого скользкого грунта из мокрых склизких канав.

Благодаря своим физическим преимуществам он обращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Притом он – моральная сила до тех пор, пока он – сила физическая.

Афоризм Павла I: «В России знатен тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю» – нашел свое неожиданно новое выражение в заботах Крайнего Севера.

Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым работягой. Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, все бьют походя – не больно, но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должностных лиц, его бьют блатары. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную командировку.

Федя Щапов, алтайский подросток, стал доходягой раньше других потому, что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы, и судили его за незаконный убой скота – единственной овцы, которую заколол Федя. Убои эти были запрещены законом. Федя получил десять лет, приисковая, торопливая, вовсе не похожая на деревенскую, работа была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на прииске, но было в его натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, природная любовь, а не отвращение к труду помогало ему немножко. Он, самый молодой среди нас, прилепился сразу к самому пожилому, к самому положительному – Ивану Ивановичу.

Савельев был студент Московского института связи, мой земляк по Бутырской тюрьме. Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо вождю партии, как верный комсомолец, уверенный, что до вождя не доходят такие сведения. Его собственное дело было настолько пустячным (переписка с собственной невестой), где свидетельством агитации (пункт десять пятьдесят восьмой статьи) были письма жениха и невесты друг другу; его «организация» (пункт одиннадцатый той же статьи) состояла из двух лиц. Все это самым серьезным образом записывалось в бланки допроса. Все же думали, что, кроме ссылки, даже по тогдашним масштабам, Савельев ничего не получит.

Вскоре после отсылки письма, в один из «заявительных» тюремных дней, Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный прокурор сообщал, что лично будет заниматься рассмотрением его дела. После этого Савельева вызвали только один раз – вручить ему приговор особого совещания: десять лет лагерей.

В лагере Савельев «доплыл» очень быстро. Ему и до сих пор непонятна была эта зловещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву – ее улицы, памятники, Москва-реку, подернутую тонким слоем нефти, отливающим перламутром. Ни Ленинград, ни Киев, ни Одесса не имеют таких поклонников, ценителей, любителей. Мы готовы были говорить о Москве без конца.

Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, затопили ее. Теплый сухой воздух был необычайного, чудесного аромата. Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота – еще хорошо, что слезы не имеют запаха.

По совету Ивана Ивановича мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую рубашку и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно, наутро вши собрались на кончиках рубашек. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменистой, оледенелой почве вырастали густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата – такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа.

Вшей мы сожгли, поднося рубашку к горячей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожил гнид, и в тот же день мы долго и яростно варили белье в больших консервных банках – на этот раз дезинфекция была надежной.

Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, ворон, чаек, белок. Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапывать в землю.

Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь, – ведь у нас было только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом.

Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не сгорая. Если бы головней было три, они сгорели бы. Этот закон я и Савельев знали со школьной скамьи, а Иван Иванович и Федя знали с детства, из дома. Утром мы раздували головни, вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолще...

Я разделил крупу на десять частей, но это оказалось слишком страшно. Операция по насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была, вероятно, легче и проще, чем арестанту разделить на тридцать порций свой десятидневный паек. Пайки, карточки были всегда декадные. На материке давно уже играли отбой по части всяких «пятидневок», «декадок», «непрерывок», но здесь десятичная система держалась гораздо тверже. Никто здесь не считал воскресенье праздником – дни отдыха для заключенных, введенные много позже нашего житья-бытья на лесной командировке, были три раза в месяц по произволу местного начальства, которому дано было право использовать дни дождливые летом или слишком холодные зимой для отдыха заключенных в счет выходных.

Я смешал крупу снова, не выдержав этой новой муки. Я попросил Ивана Ивановича и Федю принять меня в компанию и сдал свои продукты в общий котел. Савельев последовал моему примеру.

Сообща мы, все четверо, приняли мудрое решение: варить два раза в день – на три раза продуктов решительно не хватало.

– Мы будем собирать ягоды и грибы, – сказал Иван Иванович. – Ловить мышей и птиц. И день-два в декаде жить на одном хлебе.

– Но если мы будем голодать день-два перед получением продуктов, – сказал Савельев, – как удержаться, чтобы не съесть лишнего, когда привезут приварок?

Решили есть два раза в день во что бы то ни стало и, в крайнем случае, разводиться пожиже. Ведь тут у нас никто не украдет, мы получили все полностью по норме: тут у нас нет пьяниц-поваров, вороватых кладовщиков, нет жадных

надзирателей, воров, вырывающих лучшие продукты, – всего бесконечного начальства, объедающего, обирающего заключенных без всякого контроля, без всякого страха, без всякой совести.

Мы получили полностью свои жиры в виде комочка гидрожира, сахарный песок – меньше, чем я намывал лотком золотого песка, хлеб – липкий, вязкий хлеб, над выпечкой которого трудились великие, неподражаемые мастера привеса, кормившие и начальство пекарен. Крупа двадцати наименований, вовсе не известных нам в течение всей нашей жизни: магар, пшеничная сечка – все это было чересчур загадочно. И страшно.

Рыба, заменившая по таинственным табличкам замены мясо, – ржавая селедка, обещавшая возместить усиленный расход наших белков.

Увы, даже полученные полностью нормы не могли питать, насыщать нас. Нам было надо втрое, вчетверо больше – организм каждого голодал давно. Мы не понимали тогда этой простой вещи. Мы верили нормам – и известное поварское наблюдение, что легче варить на двадцать человек, чем на четверых, не было нам известно. Мы понимали только одно совершенно ясно: что продуктов нам не хватит. Это нас не столько пугало, сколько удивляло. Надо было начинать работать, надо было пробивать бурелом просекой.

Деревья на Севере умирают лежа, как люди. Огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупалец, беловатых отростков, покрытых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзалось и укреплялось там тончайшими волосками щупальце – корень. Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых, распластанных вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха – ярко-зеленом и ярко-розовом.

Только крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солнцем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели напряженную борьбу за жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не годилась. Короткий суковатый ствол, обвитый страшными наростами, как лубками каких-то переломов, не годился для строительства даже

на Севере, нетребовательном к материалу для возведения зданий. Эти крученые деревья и на дрова не годились – своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную Севером жизнь.

Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца до солнца, валили, раскряжевывали и сносили в штабеля. Мы забыли обо всем, мы хотели здесь остаться подольше, мы боялись золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно, и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в силах. Иван Иванович сделал метровую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице.

Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим посошком с зарубками и покачал головой. Мы сделали десять процентов нормы!

Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непреклонен. Он бормотал про какие-то «фесметры», про дрова «в плотном теле» – все это было выше нашего понимания. Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с обязательной, официальной, казенной надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Говорят, что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из Ницше: «Каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности.

Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари – не для них ли труд был геройством и доблестью?

Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадежности нашей работы, никчемности наших физических качеств принесло нам небывалое облегчение, вовсе не огорчая, не пугая.

Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то тоже подчиняясь приказу, распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о «высшей свободе казармы», о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении злу –

чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия.

Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали нашу жизнь далее как на день вперед. Логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно, отсидеть положенный срок в карцере и выйти на работу в забой, но мы и этого не сделали. Всякое вмешательство в судьбу, в волю богов было неприличным, противоречило кодексам лагерного поведения.

Десятник ушел, а мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с большим спокойствием, с большим безразличием. Теперь мы уже не ссорились, кому становиться под комель бревна, а кому под вершину, при переноске их в штабеля – трелевке, как это называется по-лесному.

Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледно-синее высокое небо. Мы филонили.

Утром мы с Савельевым кое-как свалили огромную черную лиственницу, чудом выстоявшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву, пила зазвенела о камни, и сели на ствол поваленного дерева.

– Вот, – сказал Савельев. – Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит; все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы – бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвоиров, все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет не много. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере.

– А честный труд? – сказал я.

– К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты – до самой

смерти. Это выгодно им – этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы.

Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева.

– Ну, отказался от работы. Составили акт – одет по сезону...

– А что это значит – «одет по сезону»? – спросил Федя.

– Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?

– У нас не оставляли, – робко сказал Федя. – Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это называлось: остался «по раздетости».

– Вот-вот.

– Ну, расскажи про метро.

И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно послушать Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не догадывался.

– У магометан, Федя, – говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен, – на молитву скликают муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомет: трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь – все было отвергнуто Магометом... Через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро, с той безусловностью и точностью, как улавливается живой голос дежурного отправителя, кричащего: «Готово!»

Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить

ветвями место ночевки. Федя был охотник – в его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все Федины достоинства на нет, земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не завидовал горожанам, он просто преклонялся перед ними, и рассказы о достижениях техники, о городских чудесах он готов был слушать без конца, несмотря на голод.

Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей – значит, это нужда не крайняя и беда не большая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы.

Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И, странное дело, когда-то в молодости моей у меня была поговорка при всех неудачах и провалах: «Ну, с голоду не умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в положении человека, умирающего с голоду по-настоящему, дерущегося из-за куска хлеба буквально, – и все это задолго до войны.

Когда мы вчетвером собрались на ключе Дусканья, мы знали все, что не для дружбы собрались мы сюда; мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать плохое: сводящий с ума голод, выпаривание вшей в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье-мечтанье, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо мы все видели во сне одно и то же: пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы, буханки ржаного хлеба.

Человек счастлив своим умением забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе Дусканья, не было его ни впереди, ни позади путей каждого из нас. Мы были отравлены Севером навсегда, и мы это понимали. Трое из нас перестали сопротивляться судьбе, и только Иван Иванович работал с тем же трагическим старанием, как и раньше.

Савельев пробовал урезонить Ивана Ивановича во время одного из перекуров. Перекур – это самый обыкновенный отдых, отдых для некурящих, ибо махорки у нас не один год не было, а перекуры были. В тайге любители курения собирали и сушили листья черной смородины, и были целые дискуссии, по-арестантски

страстные, на тему: брусничный или смородинный лист вкуснее. Ни тот, ни другой никуда не годился, по мнению знатоков, ибо организм требовал никотинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя. Но для перекуров-отдыхов смородинный лист годился, ибо в лагере слово «отдых» во время работы слишком одиозно и идет вразрез с теми основными правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отдыхать через каждый час – это вызов, это и преступление, но ежечасная перекурка – в порядке вещей. Так и здесь, как и во всем на Севере, явления не совпадали с правилами. Сушеный смородинный лист был естественным камуфляжем.

– Послушай, Иван, – сказал Савельев. – Я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге на вторых путях мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма двадцать пять кубометров. Меньше полноремы сделаешь – штрафной паек: триста граммов и баланда один раз в день. А тот, кто делает норму, получает килограмм хлеба, кроме приварка, да еще в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно. А нормы невыносимые. Так мы словчили так: сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя. Выкатаем норму. Получаем два килограмма хлеба да триста граммов штрафных моих – каждому достается кило сто пятьдесят. Завтра работаем на меня. Потом снова на тебя. Целый месяц так катали. Чем не жизнь? Главное, десятник был душа – он, конечно, знал. Ему было даже выгодно – люди не очень слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку, и кончилось наше счастье.

– Что ж, хочешь здесь попробовать? – сказал Иван Иванович.

– Я не хочу, а просто мы тебе поможем.

– А вы?

– Нам, милый, все равно.

– Ну, и мне все равно. Пусть приходит сотский.

Сотский, то есть десятник, пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбылись.

- Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды, как ОП и ОК, - важно пошутил десятник.

- Да, - сказал Савельев.

Сначала ОП, потом ОК,

На ногу бирку и - пока!

Посмеялись для приличия.

- Когда обратно-то?

- Да завтра и пойдём.

Иван Иванович успокоился. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева, без всякой веревки - таких самоубийств мне еще не приходилось видеть. Нашел его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тела до прихода «оперативки» и заторопил нас.

Федя Щапов и я собирались в великом смущении - у Ивана Ивановича были хорошие, еще целые портянки, мешочки, полотенце, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой Иван Иванович уже выварил вшей, чиненые ватные бурки, на нарах лежала его телогрейка. После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе одежды мертвеца - он все ходил около тела Ивана Ивановича. Мертвое тело всегда и везде на воле вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает на войне и не бывает в лагере - обыденность смертей, притупленность чувств снимает интерес к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила какие-то темные уголки души, толкнула его на какие-то решения.

Он вошел в избушку, взял из угла топор и перешагнул порог. Десятник, сидевший на завалинке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили во двор.

Савельев подошел к толстому, короткому бревну лиственницы, на котором мы всегда пилили дрова, – бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором.

Десятник закричал визгливо и пронзительно. Федя бросился к Савельеву – четыре пальца отлетели в опилки, их не сразу даже видно было среди веток и мелкой щепы. Алая кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, затащили жгут на руке Савельева, завязали рану.

Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева – в амбулаторию для перевязки, в следственный отдел – для начала дела о членовредительстве, Федя и я вернулись в ту самую палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья.

Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом – сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет зима, будет много, много перемен.

Я заснул быстро, а в середине ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального. Там примостился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное.

«Мама, – писал Федя, – мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону...»

1959

Апостол Павел

Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы из жердей, начальству стало ясно, что я прохромаю долго, и так как без дела сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру Адаму Фризоргеру, чему мы оба – и Фризоргер и я – были очень рады.

В своей первой жизни Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Марксштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во

время тифозного карантина и вместе приехали сюда, в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал и в доходягах и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас отправили в угольную разведку как инвалидов, как обслугу – рабочие кадры разведки были укомплектованы только вольнонаемными. Правда, это были вчерашние заключенные, только что отбывшие свой «термин», или срок, и называвшиеся в лагере полупрезрительным словом «вольняшки». Во время нашего переезда у сорока человек этих вольнонаемных едва нашлось два рубля, когда понадобилось купить махорку, но все же это был уже не наш брат. Все понимали, что пройдет два-три месяца, и они приоденутся, могут выпить, паспорт получают, может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. «В цилиндрах домой поедете», – постоянно твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось.

Впрочем, он и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали, и пять человек в обслугу – это было все, что Парамонову удалось выпросить у начальства.

Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили пред его светлые и пронизательные очи, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был печник, седоусый остряк ярославец Изгибин, не потерявший природной бойкости и в лагере. Мастерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым был одноглазый гигант из Каменец-Подольска – «паровозный кочегар», как он отрекомендовался Парамонову.

– Слесарить, значит, можешь маленько, – сказал Парамонов.

– Могу, могу, – охотно подтвердил кочегар. Он давно сообразил всю выгодность работы в вольнонаемной разведке.

Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонова. На рваное тряпье, в которое был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по одежке, а Парамонов достаточно знал лагерь.

Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом. Но мой высокий рост, по-видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой.

Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал лицо руками, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не было внове. Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скоросшивателей – так называемых «личных дел».

– Это столяр, – сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова. Прием был закончен, и нас увезли в разведку.

Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, он думал, что его вызывают на расстрел, так его запугал следователь еще на прииске. Мы жили с ним целый год в одном бараке, и не было случая, чтобы мы поругались друг с другом. Это редкость среди арестантов и в лагере, и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого градуса, что кажется – следующей ступенью может быть только нож или, в лучшем случае, какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, и если оба продолжали еще долго лениво отругиваться, то это делалось больше для порядка, для сохранения «лица».

Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало. Голос у него был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно, подчеркнута дребезжащий. Таким голосом говорят в театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются (и безуспешно) показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Все это делается не всегда с сознательным расчетом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в том, что большая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, дошли до состояния еще более тяжелого, чем они хотят показать.

Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера.

Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любят религиозных тем. Старый похабник, милейший Изгибин, пробовал было подсмеиваться над

Фризорггером, но остроты его были встречены такой мирной улыбочкой, что изгибинский заряд шел вхолостую. Фризорггера любила вся разведка и даже сам Парамонов, которому Фризорггер сделал замечательный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода.

Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда Фризорггер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знание каких-либо популярных евангельских историй – материал, который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал подобные познания. И, воодушевившись, принимался рассказывать мне то евангельское, что я помнил нетвердо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравились эти беседы.

Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризорггер ошибся. Он назвал имя апостола Павла. Я, который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным создателем христианской религии, ее основным теоретическим вождем, знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить Фризорггера.

– Нет, нет, – сказал Фризорггер, смеясь, – вы не знаете, вот. – И он стал загибать пальцы. – Питер, Пауль, Маркус...

Я рассказал ему все, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и молчал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я проснулся и в мерцающем, дымном свете коптилки увидел, что глаза Фризорггера открыты, и услышал шепот: «Господи, помоги мне! Питер, Пауль, Маркус...» Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а вечером пришел поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий старческий плач. Фризорггер стоял на коленях и молился.

– Что с вами? – спросил я, дождавшись конца молитвы.

Фризорггер нашел мою руку и пожал ее.

– Вы правы, – сказал он. – Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про Варфоломея.

Я молчал.

– Вы удивляетесь моим слезам? – сказал он. – Это слезы стыда. Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты – это я сам, это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо.

Я едва успокоил его, и с той поры (это было незадолго до вывиха ступни) мы стали еще большими друзьями.

Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.

– Вот, – сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию – «моменталку». Это была фотография молодой женщины, с каким-то случайным, как на всех снимках «моменталок», выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.

– Это моя дочь, – сказал Фризоргер торжественно. – Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дому везу. Шесть лет назад я ее взял с комода.

В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов.

– Дочь, что ли? – сказал он, быстро оглядев фотографию.

– Дочь, гражданин начальник, – сказал Фризоргер, улыбаясь.

– Пишет?

– Нет.

– Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя нога?

– Хромаю, гражданин начальник.

– Ну, хромай, хромай. – Парамонов вышел.

С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку, доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.

Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры с павших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника.

– Смотри-ка, – сказал он мне, – какое заявление на имя Фризоргера прислали.

В пакете было казенное отношение с просьбой познакомить заключенного Фризоргера (статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него и просит считать родство не бывшим.

Рязанов повертел в руках бумажку.

– Экая пакость, – сказал он. – Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?

Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма, вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного, или просто желание выполнить все по закону? Или еще что?

– Слушай, Ванюшка, – сказал я Рязанову. – Ты регистрировал почту?

– Где же, только сейчас пришла.

– Отдай-ка мне этот пакет. – И я рассказал Рязанову, в чем дело.

– А письмо? – сказал он неуверенно. – Она ведь напишет, наверное, и ему.

- Письмо ты тоже удержишь.

- Ну бери.

Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.

Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в той же самой печке.

Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше – я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный шепот: «Питер, Пауль, Маркус...»

<1954>

Ягоды

Фадеев сказал:

- Подожди-ка, я с ним сам поговорю, – подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы.

Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы, – у каждого на плече было бревно, «палка дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и заключенные, всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я – лежал в снегу.

Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».

- Слушайте, старик, – сказал он, – быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.

– Я не фашист, – сказал я, – я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме.

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых, я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением – я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру – тем лучше.

– Послушайте, – сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог. – Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.

Подошел другой конвоир – Серошапка.

– Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя пристрелю собственноручно. Понял?

– Понял, – сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну.

Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей – они замерзли, пока меня били.

На следующее утро Серошапка вывел нас на работу – в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой – пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля.

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка развесил вешки, связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону.

Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошапки – костер на работе полагался только конвою, – натаскал дров в запас.

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел

невысокий горный шиповник, темно-лиловые замороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая... На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики – яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченного вкуса.

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше.

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом.

У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к нёбу каждую ягоду – сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду.

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи – хлебом пришлось бы делиться.

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны – вешки повисли над нашей головой.

– Смотри-ка, – сказал я Рыбакову, – вернемся.

А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники... Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подальше.

Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам.

Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал:

– Оставьте на месте, не подходите!

Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два – первый бывает предупредительный.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды – я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков.

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.

– Тебя хотел, – сказал Серошапка, – да ведь не сунулся, сволочь!..

1959

Сгущенное молоко

От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить... Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир, тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню – там не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот как дело доблести и геройства. Словом, мы завидовали только Шестакову.

Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все

было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов.

Вот и сейчас – хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стоял у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по бытовым статьям, а также причисленные к «друзьям народа» воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета; сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри – даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак, и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков.

Шестакова я знал по Большой земле, по Бутырской тюрьме: сидел с ним в одной камере. Дружбы у нас там не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало быть. Счастливцев едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались – мало ли что ему могли на сей счет приказать. Своя рубашка и т. д.

– Кури, – сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку...

Я закурил.

– Мне надо с тобой поговорить, – сказал Шестаков.

– Со мной?

– Да.

Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обозревал шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью – хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов – это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные, как птицы.

- Отойдем подальше, - сказал Шестаков.

- Не убьет, не бойся. Носки будут целы.

- Я не о носках, - сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту. - Как ты смотришь на все это?

- Умрем, наверно, - сказал я. Меньше всего мне хотелось думать об этом.

- Ну нет, умирать я не согласен.

- Ну?

- У меня есть карта, - вяло сказал Шестаков. - Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на Черные Ключи - это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем к морю. Согласен?

Он выложил все это равнодушной скороговоркой.

- А у моря? Поплывем?

- Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», - торжественно произнес Шестаков. - Кто это сказал?

В самом деле. Знакомая фраза. Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все книжное было забыто. Книжному не верили. Я засучил брюки, показал красные цинготные язвы.

- Вот в лесу и вылечишь, - сказал Шестаков, - на ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта...

Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути - и все по пятьсот километров, не меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня как пищу с собой? Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова - единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью...

– Я согласен, – сказал я, открывая глаза. – Только мне надо подкормиться.

– Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормишься. Я принесу тебе... консервов. У нас ведь можно...

Есть много консервов на свете – мясных, рыбных, фруктовых, овощных... Но прекрасней всех – молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть ложкой, или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки...

– Завтра, – сказал я, задыхаясь от счастья, – молочных...

– Хорошо, хорошо. Молочных. – И Шестаков ушел.

Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Это был какой-то физический процесс – материальность нашей психики впервые представала мне во всей наглядности, во всей осязаемости. Думать было больно. Но думать было надо. Он соберет нас в побег и сдаст – это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же, на Черных Ключах, или приведут живыми и осудят – добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко...

Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока – чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко.

Не помню, что я делал в этот день и как работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают конец рабочего дня.

Хрипло загудел гудок, и я пошел к бараку, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопыривались.

Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из кармана две банки сгущенного молока.

Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку.

– Надо было вторую дырку пробить. Для воздуха, – сказал Шестаков.

– Ничего, – сказал я, облизывая грязные сладкие пальцы.

– Дайте ложку, – сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. Десять блестящих, отлизанных ложек потянулись над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В этом не было неделикатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся, что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано – интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезающую во рту другого человека. Я сел поудобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел обе банки. Зрители отошли в сторону – спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня сочувственно.

– Знаешь что. – сказал я, тщательно облизывая ложку, – я передумал. Идите без меня.

Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова.

Это было, конечно, ничтожной мезью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других – я не знал их. А предупредить было надо – Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от Черных Ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было выделено производством, его вскоре куда-то увезли, через полгода я встретил его на другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил – начальство играло с ним честно, а ведь могло быть и иначе.

Он работал в геологоразведке, был брит и сыт, и шахматные носки его все еще были целы. Со мной он не здоровался, и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое дело, в конце концов...

<1956>

## Заклинатель змей

Мы сидели на поваленной бурей огромной лиственнице. Деревья в краю вечной мерзлоты едва держатся за неудобную землю, и буря легко вырывает их с корнями и валит на землю. Платонов рассказывал мне историю своей здешней жизни – второй нашей жизни на этом свете. Я нахмурился при упоминании прииска «Джанхара». Я сам побывал в местах дурных и трудных, но страшная слава «Джанхары» гремела везде.

– И долго вы были на «Джанхаре»?

– Год, – сказал Платонов негромко. Глаза его сузились, морщины обозначились резче – передо мной был другой Платонов, старше первого лет на десять.

– Впрочем, трудно было только первое время, два-три месяца. Там одни воры. Я был единственным... грамотным человеком там. Я им рассказывал, «тискал романы», как говорят на блатном жаргоне, рассказывал по вечерам Дюма, Конан Дойля, Уоллеса. За это они меня кормили, одевали, и я работал мало. Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это единственное преимущество грамотности здесь?

– Нет, – сказал я, – нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом. За суп я никогда не рассказывал романов. Но я знаю, что это такое. Я слышал «романистов».

– Это – осуждение? – сказал Платонов.

– Ничуть, – ответил я. – Голодному человеку можно простить многое, очень многое.

– Если я останусь жив, – произнес Платонов священную фразу, которой начинались все размышления о времени дальше завтрашнего дня, – я напишу об этом рассказ. Я уже и название придумал: «Заклинатель змей». Хорошее?

– Хорошее. Надо только дожить. Вот – главное.

Андрей Федорович Платонов, киносценарист в своей первой жизни, умер недели через три после этого разговора, умер так, как умирали многие, – взмахнул кайлом, покачнулся и упал лицом на камни. Глюкоза внутривенно, сильные сердечные средства могли бы его вернуть к жизни – он хрипел еще час-полтора, но уже затих, когда подошли носилки из больницы, и санитары унесли в морг этот маленький труп – легкий груз костей и кожи.

Я любил Платонова за то, что он не терял интереса к той жизни за синими морями, за высокими горами, от которой нас отделяло столько верст и лет и в существование которой мы уже почти не верили или, вернее, верили так, как школьники верят в существование какой-нибудь Америки. У Платонова, бог весть откуда, бывали и книжки, и, когда было не очень холодно, например в июле, он избегал разговоров на темы, которыми жило все население, – какой будет или был на обед суп, будут ли давать хлеб трижды в день или сразу с утра, будет ли завтра дождь или ясная погода.

Я любил Платонова, и я попробую сейчас написать его рассказ «Заклинатель змей».

Конец работы – это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти две из десяти ежедневных перекличек под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей, пока еще более сильных, чем ты, товарищей, которые тоже устали и спешат домой и сердятся из-за всякой задержки. Надо еще пройти перекличку, построиться и отправиться за пять километров в лес за дровами – ближний лес давно весь вырублен и сожжен. Бригада лесорубов заготавливает дрова, а шурфовые рабочие носят по бревнышку каждый. Как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже двум людям, никто не знает. Автомшины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прежним бытом и нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется, да так, наверное, оно и есть на самом деле, что человек потому и поднялся из звериного царства, стал человеком, то есть существом, которое могло придумать такие вещи, как наши острова со всей невероятностью их жизни, что он был физически выносливее

любого животного. Не рука очеловечила обезьяну, не зародыш мозга, не душа – есть собаки и медведи, поступающие умней и нравственней человека. И не подчинением себе силы огня – все это было после выполнения главного условия превращения. При прочих равных условиях в свое время человек оказался значительно крепче и выносливей физически, только физически. Он был живуч как кошка – эта поговорка неверна. О кошке правильнее было бы сказать – эта тварь живуча, как человек. Лошадь не выносит месяца зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. Если это не якутская лошадь. Но ведь на якутских лошадях и не работают. Их, правда, и не кормят. Они, как олени зимой, копытят снег и вытаскивают сухую прошлогоднюю траву. А человек живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами. Поэтому так много самоубийц. Но чувство самосохранения, цепкость к жизни, физическая именно цепкость, которой подчинено и сознание, спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака. Но он цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливей любого животного.

О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече и ожидая новой переключки. Дрова принесены, сложены, и люди, теснясь, торопясь и ругаясь, вошли в темный бревенчатый барак.

Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все рабочие ходили на работу. В правом дальнем углу на верхних нарах, перетащив к себе единственную лампу, бензиновую коптилку без стекла, сидели человек семь-восемь вокруг двоих, которые, скрестив по-татарски ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Дымящаяся коптилка дрожала, огонь удлинял и качал тени.

Платонов присел на край нар. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли на «Джанхару», и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было.

«Вот все разойдутся, – подумал Платонов, – и я лягу». Он задремал.

Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар.

– Ну-ка, позовите этого Ивана Ивановича, – сказал он.

Толчок в спину разбудил Платонова.

- Ты... Тебя зовут.

- Ну, где он, этот Иван Иванович? - звали с верхних нар.

- Я не Иван Иванович, - сказал Платонов, щурясь.

- Он не идет, Федечка.

- Как не идет?

Платонова вытолкали к свету.

- Ты думаешь жить? - спросил его негромко Федя, вращая мизинец с отрощенным грязным ногтем перед глазами Платонова.

- Думаю, - ответил Платонов.

Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом.

- Так отвечать нельзя, - ласково объяснил Федя. - Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?

Платонов молчал.

- Иди, тварь, - сказал Федя. - Иди и ложись к параше. Там будет твое место. А будешь кричать - удавим.

Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцем людей - по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на мокрые вонючие доски.

- Скука, братцы, - сказал Федя, зевая, - хоть бы пятки кто почесал, что ли...

- Машка, а Машка, иди чеши Федечке пятки.

В полосу света вынырнул Машка, бледный хорошенький мальчик, воренок лет восемнадцати.

Он снял с ног Федечки заношенные желтые полуботинки, бережно снял грязные рваные носки и стал, улыбаясь, чесать пятки Феде. Федя хихикал, вздрагивая от щекотки.

- Пошел вон, - вдруг сказал он. - Не можешь чесать. Не умеешь.

- Да я, Федечка...

- Пошел вон, тебе говорят. Скребет, царапает. Нежности нет никакой.

Окружающие сочувственно кивали головами.

- Вот был у меня на «Косом» жид - тот чесал. Тот, братцы мои, чесал. Инженер.

И Федя погрузился в воспоминания о жиде, который чесал пятки.

- Федя, а Федя, а этот, новый-то... Не хочешь попробовать?

- Ну его, - сказал Федя. - Разве такие могут чесать. А впрочем, подымите-ка его.

Платонова вывели к свету.

- Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу, - распорядился Федя. - И ночью будешь дрова в печку подкладывать. А утром - парашку на улицу. Дневальный покажет, куда выливать...

Платонов молчал покорно.

- За это, - объяснял Федя, - ты получишь миску супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. Иди спи.

Платонов лег на старое место. Рабочие почти все спали, свернувшись по двое, по трое – так было теплее.

– Эх, скука, ночи длинные, – сказал Федя. – Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на «Косом»...

– Федя, а Федя, а этот, новый-то... Не хочешь попробовать?

– И то, – оживился Федя. – Подымите его.

Платонова подняли.

– Слушай, – сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе, – я тут погорячился немного.

– Ничего, – сказал Платонов сквозь зубы.

– Слушай, а романы ты можешь тискать?

Огонь блеснул в мутных глазах Платонова. Еще бы он не мог. Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась «Графом Дракулой» в его пересказе. Но там были люди. А здесь? Стать шутком при дворе миланского герцога, шутком, которого кормили за хорошую шутку и били за плохую? Есть ведь и другая сторона в этом деле. Он познакомит их с настоящей литературой. Он будет просветителем. Он разбудит в них интерес к художественному слову, он и здесь, на дне жизни, будет выполнять свое дело, свой долг. По старой привычке Платонов не хотел себе сказать, что просто он будет накормлен, будет получать лишний супчик не за вынос параши, а за другую, более благородную работу. Благородную ли? Это все-таки ближе к чесанию грязных пяток вора, чем к просветительству. Но голод, холод, побои...

Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.

– М-могу, – выговорил Платонов и в первый раз за этот трудный день улыбнулся. – Могу тиснуть.

– Ах ты, милый мой! – Федя развеселился. – Иди, лезь сюда. На тебе хлебушка. Получше уж завтра покушаешь. Садись сюда, на одеяло. Закуривай.

Платонов, не куrivший неделю, с болезненным наслаждением сосал махорочный окурок.

– Как тебя звать-то?

– Андрей, – сказал Платонов.

– Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористей. Вроде «Графа Монте-Кристо». О тракторах не надо.

– «Отверженные», может быть? – предложил Платонов.

– Это о Жан Вальжане? Это мне на «Косом» тискали.

– Тогда «Клуб червонных валетов» или «Вампира»?

– Вот-вот. Давай валетов. Тише вы, твари...

Платонов откашлялся.

– В городе Санкт-Петербурге в тысяча восемьсот девяносто третьем году совершено было одно таинственное преступление...

Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилел.

– На этом кончается первая часть, – сказал он.

– Ну, здорово, – сказал Федя. – Как он ее. Ложись здесь с нами. Спать-то много не придется – рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру...

Платонов уже спал.

Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних валетов, злобно толкнул Платонова в дверях.

- Ты, гадина, ходи да поглядывай.

Ему тотчас же зашептали что-то на ухо.

Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову.

- Ты Феде-то не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист.

- Я не скажу, - ответил Платонов.

1954

Тайга золотая

«Малая зона» - это пересылка. «Большая зона» - лагерь горного управления - бесконечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки, караульные вышки по-зимнему, похожие на скворечни. В малой зоне еще больше колючей проволоки, еще больше вышек, замков и щеколд - ведь там живут проезжие, транзитные, от которых можно ждать всякой беды.

Архитектура малой зоны идеальна. Это один квадратный барак, огромный, где нары в четыре этажа и где «юридических» мест не менее пятисот. Значит, если нужно, можно вместить тысячи. Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще не успел высохнуть внутри - белый пар, на стенах лед. При входе - огромная лампа электрическая в тысячу свечей. Лампа то желтеет, то загорается ослепительным белым светом - подача энергии неровная.

Днем зона спит. По ночам раскрываются двери, под лампой появляются люди со списками в руках и хриплыми, простуженными голосами выкрикивают фамилии. Те, кого вызвали, застегивают бушлаты на все пуговицы, шагают через порог и

исчезают навсегда. За порогом ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузовиков, заключенных везут на прииски, в совхозы, на дорожные участки...

Я тоже лежу здесь – недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх, где теплее, я подниматься не решаюсь, меня оттуда сбросят вниз: там место для тех, кто посильней, и прежде всего для воров. Да мне и не взобраться наверх по ступенькам, прибитым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах – я уползу под нары, вниз.

Я не могу ни кусаться, ни драться, хотя приемы тюремной драки мною освоены хорошо. Ограниченность пространства – тюремная камера, арестантский вагон, барачная теснота – продиктовала приемы захвата, укуса, перелома. Но сейчас сил нет и для этого. Я могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый клочок тела подсказывает мне мое поведение.

Меня вызывают в первую же ночь, но я не подпоясываюсь, хотя веревочка у меня есть, не застегиваюсь наглухо.

Дверь закрывается за мной, и я стою в тамбуре.

Бригада – двадцать, человек, обычная норма для одной автомашины, стоит у следующей двери, из которой выбивается густой морозный пар.

Нарядчик и старший конвоир считают и осматривают людей. А справа стоит еще один человек – в стеганке, в ватных брюках, в ушанке, помахивает меховыми рукавицами-крагами. Его-то мне и нужно. Меня возили столько раз, что закон я знал в совершенстве.

Человек с крагами – представитель, который принимает людей, который волен не принять.

Нарядчик выкрикивает мою фамилию во весь голос – точно так же, как кричал в огромном бараке. Я смотрю только на человека с крагами.

– Не берите меня, гражданин начальник. Я больной и работать на прииске не буду. Мне надо в больницу.

Представитель колеблется – на прииске, дома, ему говорили, чтобы он отобрал только работяг, других прииску не надо. Потому-то он и приехал сам.

Представитель разглядывает меня. Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без пуговиц, открывающая грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми перевязаны пальцы рук, веревочная обувь на ногах, веревочная в шестидесятиградусный мороз, воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость – он хорошо знает, что все это значит.

Представитель берет красный карандаш и твердой рукой вычеркивает мою фамилию.

– Иди, сволочь, – говорит мне нарядчик зоны.

И дверь распахивается, и я снова внутри малой зоны. Место мое уже занято, но я оттаскиваю того, кто лег на мое место, в сторону. Тот недовольно рычит, но вскоре успокаивается.

А я засыпаю похожим на забытье сном и просыпаюсь от первого шороха. Я выучился просыпаться, как зверь, как дикарь, без полусна.

Я открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом педераста.

– Скажи Валюше, – говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, – что артистов привели...

Пауза. Потом хриплый голос сверху:

– Валюша спрашивает: кто они?

– Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.

Туфля зашевелилась и исчезла... Голос сверху сказал:

– Веди их.

Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один в вольной «москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.

– Кто тут харбинский? – сказал голос.

– Это я, – почтительно ответил человек в бекеше.

– Валюша велит спеть что-нибудь.

– На русском? Французском? Итальянском? Английском? – спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.

– Валюша сказал: на русском.

– А конвой? Можно негромко?

– Ничто... ничто... Вовсю валяй, как в Харбине.

Певец отошел и спел куплеты Тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом.

Тяжелое ворчание, и голос сверху:

– Валюша сказал: какую-нибудь песню.

Побледневший певец пел:

Шуми, золотая, шуми, золотая,

Моя золотая тайга,

Ой, вейтесь, дороги, одна и другая,

В раздольные наши края...

Голос сверху:

– Валюша сказал: хорошо.

Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.

– Ну, а теперь, – сказал голос, – снимай-ка свою «москвичку». Вот тебе сменка!

Сверху сбросили рваную телогрейку.

Певец молча снял «москвичку» и надел телогрейку.

– Иди теперь, – сказал голос сверху. – Валюша спать хочет.

Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане.

Я подвинулся глубже, скорчился, засунул руки в рукава телогрейки и заснул.

И, казалось, тотчас же проснулся от громкого, выразительного шепота:

– В тридцать седьмом в Улан-Баторе идем мы по улице с товарищем. Время обедать. На углу – китайская столовая. Заходим. Смотрю меню: китайские пельмени. Я сибиряк, знаю сибирские, уральские пельмени. А тут вдруг китайские. Решили взять по сотне. Хозяин китаец смеется: «Многа будет», – и рот растягивает до ушей. «Ну, по десятку?» Хохочет: «Многа будет». «Ну, по паре!» Пожал плечами, ушел на кухню, тащит – каждый пельмень с ладонь, все залито жиром горячим. Ну, мы по полпельменя на двоих съели и ушли.

– А вот я...

Усилием воли заставляю себя не слушать и засыпаю снова. Просыпаюсь от запаха дыма. Где-то вверху, в воровском царстве, курят. Кто-то слез с махорочной сигаркой вниз, и острый сладкий запах дыма разбудил всех внизу.

И снова шепот:

– В райкоме у нас, в Северном, этих окурков, боже мой, боже мой! Тетя Поля, уборщица, все ругалась, подметать не успевала. А я и не понимал тогда, что такое табачный окурочок, чинарик, бычок.

Снова я засыпаю.

Кто-то дергает меня за ногу. Это нарядчик. Воспаленные глаза его злы. Он ставит меня в полосу желтого света у двери.

– Ну, – говорит он, – на прииск ты не хочешь ехать.

Я молчу.

– А в совхоз? В теплый совхоз, черт бы тебя побрал, сам бы поехал.

– Нет.

– А на дорожную? Метлы вязать. Метлы вязать, подумай.

– Знаю, – говорю я, – сегодня метлы вязать, а завтра – тачку в руки.

– Чего же ты хочешь?

– В больницу! Я болен.

Нарядчик что-то записывает в тетрадь и уходит. Через три дня в малую зону приходит фельдшер и вызывает меня, ставит термометр, осматривает язвы фурункулов на спине, втирает какую-то мазь.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

## Примечания

1

Ирвинг Стоун, «Жажда жизни». Повесть о Винсенте Ван-Гоге.

2

Мандельштам Н.Я. писала В.Т. Шаламову (2 сент. 1965 г.): «В “Деле юристов” как будто читала более детальный вариант, и он был сильнее».

----

Купить: <https://telnovel.me/ru/varlam-shalamov/kolymskie-rasskazy-stihotvoreniya-sbornik-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)